

ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЛНА

**альманах
берлинских
литераторов**

ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА

**Berlin
2016**

**Альманах берлинских литераторов
«ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА»**

Руководитель проекта
Светлана АГРОНИК

Dr. Svetlana Agronik, Leiterin des Projektes «Impuls»
(Integrationsdezernat der Jüdischen Gemeinde zu Berlin).

Составитель
Александр ЛАЙКО

Технический редактор
Иосиф МАЛКИЕЛЬ

ISBN 978-3-926652-92-8

**Берлин
2016**

Вера Лурье

ИЗ ВСПОМИНАНИЙ

Николай Гумилёв

Петроград, 1920 год. Мне рассказали о недавно открытом Доме искусств на углу Невского проспекта и Мойки, который основал Максим Горький.

Он располагался в бывшем княжеском дворце. Коммунисты этого князя выгнали, и тогда там поселились деятели культуры. В этом доме организовывались различные семинары по поэтическому искусству и писательскому мастерству, по театральному искусству и многому другому. Кроме того, там находились апартаменты для извест-

ных деятелей литературы и искусства. Там жили писательница Мариэтта Шагинян и поэт Михаил Лозинский, а также Николай Гумилёв. В то время он был уже разведён с Анной Ахматовой. Она была, конечно, самой известной русской поэтессой, и каждая русская девушка мечтала быть похожей на неё. Гумилёв был в то время женат на очень молодой и немного скучной актрисе Анне Энгельгардт.

Однажды в Доме искусств состоялся вечер с танцами. Гумилёв стоял в углу зала и разговаривал с поэтом Осипом Мандельштамом. Мандельштам был небольшого роста и напоминал мне своей вверх закинутой головой возбуждённого петуха. Вместе с Гумилёвым, Ахматовой и Георгием Ивановым он был одним из основателей акмеизма. Это было литературное течение, которое развивалось вслед за символизмом и представляло

Известная поэтесса Вера Лурье (1901 г. Петербург – 1998 г. Берлин), воспоминания которой печатаются со значительными сокращениями, являлась членом литературного кружка молодых поэтов Николая Гумилёва «Звучащая раковина». С 1921 года Вера Лурье жила в Берлине. Её мемуары, над которыми она работала в последние годы жизни, написанные на немецком языке, не были закончены и поэтому не изданы в Германии.

Случай помог мне получить рукопись этих воспоминаний. Я благодарна господину Буркхарду Кирхнеру, помогавшему Вере Лурье в работе над немецким текстом, ставшему её редактором и помощником, за его содействие в подготовке мемуаров для моего перевода на русский язык.

Антонина Игошина

собой определённую противоположность ему. Название происходит от греческого слова «акме» и означает «цветущая сила».

Гумилёв произвёл на меня впечатление очень спокойного человека. Он был, собственно говоря, некрасив, у него была овальной формы голова, худое лицо и серые глаза. Но он обладал большим обаянием и был Личностью. Не будучи с ним знакома, я подошла к нему из озорства и спросила: «Николай Степанович, не хотите потанцевать?»

Играли как раз вальс, и он ответил: «Я не танцую, но такой юной даме я не могу отказать.»

Мы пошли в круг танцующих и двигались скорее шагом, нежели действительно танцевали. Гумилёв в самом деле не умел танцевать.

Литературный семинар, в котором я участвовала, вёл Николай Гумилёв, он занимался темой «Поэтическое искусство». Гумилёв придерживался мнения, что из любого человека можно сделать поэта. Участники семинара писали стихи, которые они читали, остальные их обсуждали, а в конце высказывался Гумилёв. У Гумилёва я училась писать стихи, но мои стихи не имели, разумеется, того поэтического уровня, как поэзия моего учителя.

Это было прекрасное время. Из глубины моей памяти встают перед глазами живые картины, как мы в холодную русскую зиму сидели за длинным столом, открывалась дверь и входил Гумилёв. Он носил всегда шубу и меховую шапку. Медленно снимал он шубу и шапку и садился во главе стола. Потом вынимал украшенный черепаховым панцирем портсигар, доставал сигарету, зажигал её, и занятие начиналось.

Мои воспоминания возвращаются далеко назад, прошло почти 60 лет с тех пор, как я начала в Петрограде свою литературную деятельность. С наступлением весны некоторые участники семинара ходили на прогулки с Гумилёвым. Мы бродили по запущенным улицам, где между тротуарными плитами росла трава. Опустошение после революции имело своё болезненное очарование. Кроме того, во всём этом чувствовалось что-то вольное. Особенно ярко осталась в моей памяти улица вдоль Невы – набережная. В Петрограде и позднее в Берлине я написала несколько стихотворений о набережной.

У Гумилёва было много подруг, которых он любил, и которые любили его. И я тоже, конечно, была очень влюблена в Гумилёва, и моё увлечение Евреиновым было забыто. Однажды Гумилёв сказал мне, что участник петроградской поэтической богемы Николай Оцуп хочет устроить в своей квартире небольшой праздник, но, разумеется, как он подчеркнул: «только для взрослых». Это раззадорило меня, ведь мне было 20 лет, и я решила пойти туда. В то время шла полным ходом гражданская война, красные сражались против белых, и вечером после 20 часов не разрешалось вы-

ходить из дома. Таким образом, домой возвращаться можно было только утром на следующий день, чтобы не быть арестованной на улице.

Когда я вошла в квартиру Оцупа, там уже сидели Гумилёв, поэт Георгий Иванов, морской офицер Колбасьев, который тоже писал рассказы, фотограф Моисей Наппельбаум и его дочери Ида и Фрида. Впоследствии Наппельбаум стал знаменитым советским фотографом. Многие позднейшие портреты Ленина были сделаны им. Говорили, что он стал прекрасным ретушёром Кремля и, когда было необходимо, удалял с фотографий Троцкого или других противников Сталина. Кроме того, здесь был, конечно, сам Николай Оцуп. В квартире не было света, и мы ходили из комнаты в комнату с керосиновой лампой. Пили что-то ужасное, сделанное из денатурата.

Придя на следующее утро домой, я написала стихотворение, в котором есть строка: «Милые, милые, милые, / Ночь оторвала меня».

Когда я однажды пришла в Дом искусств посетить Гумилёва, меня предупредили в фойе, чтобы я не ходила в его комнату. Там, наверно, западня ЧК. Сам Гумилёв, видимо, уже арестован, а вверху чекисты стоят на посту и подстерегают его друзей. После этой новости я, как можно скорее, поспешила домой.

Во время ареста о Гумилёве заботились три женщины, которые носили ему посылки в тюрьму – Аня Энгельгардт, Ида Наппельбаум и Нина Берберова, подруга поэта Владислава Ходасевича. Вскоре мне сказал советский журналист и искусствовед Натан Федоровский, что Гумилёв как контрреволюционер был расстрелян по приказу пресловутого начальника ЧК Дзержинского.

После расстрела Гумилёва члены «Звучащей раковины» заказали траурный молебен в Казанском соборе на Невском проспекте по «рабу божьему Николаю». Имя Гумилёва уже не решались упоминать публично. Случайно я встретила на улице Анну Ахматову. Она сказала, что уже знает о панихиде. На богослужении мы встретились ещё раз.

Много лет спустя, в 40-х годах, был арестован её сын Лев Гумилёв. Он был приговорён к 10 годам лагерных работ в Сибири. В 50-е годы многие деятели культуры, в том числе Эренбург, пытались его освободить. Наконец, им это удалось. Анна Ахматова ждала в очередях перед Министерством внутренних дел, как многие другие матери, чтобы передать сыну еду и деньги. Позднее она написала известную поэму «Реквием», которую она посвятила своему сыну Льву Гумилёву:

В поэме говорилось о том, что матери заключённых должны, наконец, дожидаться возвращения своих детей и мужей. Это были стихи о всех женщинах, которые потеряли своих близких во время сталинского террора.

Это были прекрасные стихи. Когда я впервые читала «Реквием» и вспоминала Николая Гумилёва, в горле у меня стоял ком.

Андрей Белый

Я вспоминаю кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе. В 20-е годы там устраивались русские литературные вечера. Русские называли это кафе «Дом искусств», по примеру известного «Дома искусств» в Петрограде. Руководителем этих вечеров был старый писатель Николай Минский.

В один из вечеров я пришла в кафе, чтобы сделать доклад о петроградской поэзии и о «Звучащей раковине». Я стояла в центре зала и рассказывала о творчестве и произведениях русских поэтов Петрограда, о «Доме искусств», о Гумилёве и его аресте и казни, о смерти и похоронах Александра Блока. В завершение я прочитала несколько своих стихотворений. И тут произошло невероятное. Знаменитый русский поэт Андрей Белый встал и подошёл ко мне. Андрей Белый был для меня недостижимой величиной. Ещё в Петрограде я читала два его романа: «Серебряный голубь», в котором рассказывается о религиозной секте, похожей на хлыстов, и «Петербург», написанный ритмизированной прозой, который был пророческой книгой, содержащей предсказание Первой мировой войны и русской революции. Символисты были для меня, словно пророки Апокалипсиса.

Андрей Белый заговорил со мной, он сказал, что мои стихи ему понравились.

Так началась моя дружба с Белым. Я часто навещала его, заваривала чай, штопала его носки и верила, что очень в него влюблена. Сейчас я думаю, что это было просто преклонением перед известным человеком и гордость, что такая литературная знаменитость делает честь и проявляет столько интереса к скромной поэтессе Вере Лурье. Но всё это не имело особого значения для Белого, он находил самого себя привлекательным и радовался, что женщина влюблена в него. Вызвать у него симпатию было нетрудно.

Белый как человек был очень сложным, эгоцентричным и, в сущности, любил только самого себя и был занят исключительно самим собой. Но гениального человека надо принимать таким, каков он есть, а Андрей Белый был гением. Он вовсе не был легкомысленным, просто наша связь была не слишком глубокой. Я была милой девушкой, с которой он мог говорить о своих впечатлениях и настроениях.

В то время Белый писал воспоминания о своей молодости и Александре Блоке. В молодые годы они были очень дружны, потом из-за романа меж-

ду Белым и женой Блока друзья разошлись. Во время моих посещений Белый читал мне из своих воспоминаний. Кроме того, он писал тогда книгу «Гласолалия» – научную работу, в которой говорилось о связи слов, ритмов и звуков. Это было для меня слишком сложно, но он объяснил мне всё так ясно, что в газете «Дни» я смогла даже опубликовать статью об этой книге. В то время Белый переработал свой роман «Петербург» и сократил его.

У Белого была лысина, обрамлённая седыми волосами. Дома он обычно носил на голове ермолку, чёрную матерчатую шапочку, какие носят верующие евреи. Самым примечательным в его облике были глаза. Они были зеленоватыми и узкими, глубоко посаженными и словно светящимися изнутри. Я никогда больше не встречала подобных глаз, они были действительно незабываемы.

Сначала Андрей Белый жил на Пассауерштрассе, как раз напротив KaDeWe. Потом переехал в пансион на Виктория-Луиза плац, где находилось большое кафе, в котором можно было танцевать. При случае мы проводили там вечера. Белый носил длинный чёрный пиджак и вместо галстука чёрный шёлковый бант. Мы танцевали в ритме one step или шимми и ещё им самим придуманный танец, который не имел ничего общего с модными танцами. Но публика была в таком восторге, что мне даже дарили цветы.

Белый воспринимал Берлин, как слишком быстрый, лихорадочный и нервный город. В одном эссе он писал, что Берлин – это организованный, упорядоченный, реальный кошмар. И однажды спешно уехал в Цоссен, небольшой городок южнее Берлина. Несколько раз я навещала его там. Это был небольшой серый дом с такой же серой хозяйкой. Белый занимал большую тёмную комнату и работал там. Я думаю, он хотел покоя.

Мне рассказывали позже, что Белый за два-три года в Берлине написал 20 книг. Я не могу себе это представить.

Белый принадлежал к антропософскому обществу, что объясняют влиянием его бывшей жены Аси Алексеевны Тургеневой. Она почитала Рудольфа Штейнера.

Белый пил много, но я никогда не видела его пьяным. Я вспоминаю, что проводила с ним чаще не вечера, а послеобеденное время. Я не видела, чтобы он сильно пил, но мне рассказывали, что его иногда приводили домой. Для русской богемы это было обычным делом – в России вообще много пили.

Когда из Москвы приехала Клавдия Николаевна Васильева, тоже член антропософского общества, чтобы уговорить Белого вернуться в Советский Союз, я побывала у него ещё раз.

Васильева выглядела очень по-русски, была скромно одета, у неё было

приятное, хотя и неяркое лицо. Она имела большое влияние на Белого. Именно тогда он решил вернуться в Россию. Позже он женился на Клавдии Васильевой. Моё последнее воспоминание о нём: вокзал Zoo, Белый покидает Берлин. Многие друзья и знакомые Андрея Белого, в том числе я, провожают его. Поезд отъезжает, небольшая фигура Белого постепенно исчезает из вида. Для меня исчезает навсегда.

Илья Эренбург

Было время, когда окрестности вокруг Виттенбергплац, Тауентциенштрассе и Гедэхтнискирхе были прочно в руках русских. На каждом углу были русские рестораны, на улицах слышна русская речь. Имелись русские издательства, выходили десятки русских газет. В те времена в Берлине жили 300 тысяч русских эмигрантов. У многих беженцев были, разумеется, потребности в информации.

Примерно в 1921 году Илья Григорьевич Эренбург и его жена, художница Люба Михайловна Козинцева, снимали комнату в пансионе на Пассауерштрассе. Эренбурги не были эмигрантами, у них было разрешение от советских властей на проживание за границей. С ними я была дружна, особенно с женой Эренбурга. Благодаря им, я познакомилась со многими интересными людьми. Иногда они брали меня с собой в фешенебельный ресторан «Шваннеке», который посещали известные «левые» литераторы Берлина. Там я познакомилась с Эрнстом Толлером, Акселем Эггебрехтом и Леонардом Франком.

Илья Эренбург и его жена были на «вы» друг с другом. Он говорил ей «Вы, Люба», она называла его «Вы, Илья Григорьевич». У них были хорошие отношения, но при этом они открыто изменяли друг другу.

Илья Эренбург был очень умным человеком, у него был острый язык, которого боялись. Я не могу назвать его исключительно симпатичным человеком, хотя и была дружна с ним. Он был очень ироничен, до цинизма. Когда позднее в Лондоне репортёр Би-Би-Си спросил его, что ему больше всего понравилось в Англии, он ответил: «Собаки».

Это было типично для него. Люди вообще ему не нравились. Хотя он был человеком, связанным с политикой, на самом деле его ничего не интересовало. Так мне иногда казалось. Людей он явно недолюбливал. Я думаю, в сущности, он был нигилистом или, можно сказать, скептиком. Как поэтессу он меня всерьёз не воспринимал.

Однажды утром жена Эренбурга нашла перед дверью комнаты их пансиона намордник, видимо, кто-то намекал на злой язык её мужа.

Эренбург выглядел очень неряшливым, у него отсутствовал один, а может быть, и не один, передний зуб. Я думаю, что это не было запущенностью, он просто боялся зубных врачей. Позднее он побывал на гражданской войне в Испании, и там познакомился с Хемингуэем, который поставил ему в комнату в гостинице ящик с ручными гранатами. Эренбург был также на фронте, но зубных врачей он боялся.

Всё, что его окружало, было в беспорядке. На его подтяжках не хватало пуговиц. Ходили слухи, что он якобы во время бракосочетания поддерживал руками свои брюки, чтобы они не упали. Поэтому не мог надеть своей жене обручальное кольцо. Однажды утром перед их дверью стояла коробка с мылом. Люба Эренбург восприняла это с юмором и была очень довольна, что, наконец, есть достаточно мыла для стирки.

Мыло – против его неопрятности, намордник – против его язвительности.

В молодости Эренбург писал патриотические стихи. Довольно рано он уехал во Францию и жил там в бедности. В Париже он жил долгие годы и говорил по-французски безупречно, как француз.

Большую часть дня он проводил в кафе «Прагердиле» на Прагерплац в Берлине, где у него был свой легендарный постоянный столик. Там он завтракал и там же писал свои книги. Он писал тогда непрерывно. Писал и писал. Вечером в «Прагердиле» собирались многие люди искусства, которые хотели его видеть.

Люба Эренбург была полной противоположностью своему мужу, во всяком случае, что касается внешности. Она была красива и очень элегантна. После свадьбы она, как художница, оставила свою фамилию «Козинцева». Она была еврейкой по происхождению, но выглядела, скорее, как египтянка. Её классическое лицо было строгим и серьёзным. При этом она всегда была в хорошем настроении, у неё было чувство юмора, и она говорила очень красиво по-русски.

Когда я у них бывала, Илья Эренбург сажал меня на колени и изображал француза, который пристаёт к уличной девице. Потом поднимал меня высоко и носил по комнате. Он проделывал со мной довольно скверные шутки. Во всяком случае, у них не было скучно.

Илья Эренбург пробивался всегда, даже при Сталине. Многие его друзья были казнены, но он всегда ускользал. При этом он никогда не был нескритичным. Было почти чудом, что он пережил те времена. Он был действительно умён.

После нашего прощания он приезжал время от времени в Берлин, но без Любы. Тогда мы шли в ресторан, немного пили и развлекались. Позже всё постепенно распалось. Иногда я даже не знала, когда он бывал в

Берлине. В начале 30-х годов одной из его страстей было фотографирование Берлина с самых разных сторон.

Он очень много путешествовал, часто по поручению советского правительства.

Алексей Ремизов

Когда мы жили в Шарлоттенбурге на Шлоссптрассе, я бывала иногда у жившего неподалёку Алексея Михайловича Ремизова. Он писал великолепные рассказы. Ремизов был мал ростом, очень близорук и потому носил очки с толстыми стёклами. «Маленький ёжик» Ремизов был большим оригиналом. Он и его жена были очень верующими, они ходили в церковь Святой Луизы. Жена его была очень высокая и полная, я посвятила ей стихотворение «Великая женщина». Она была чудачкой, но такой сердечной! Её радовало, что я хорошо разбираюсь в русской литературе. Вдоль квартиры Ремизова были протянуты верёвочки, на которых висели маленькие фигурки животных, в основном обезьян.

Он называл себя Асыка, обезьяний царь. Пользуясь своим авторитетом, как царь обезьян, он раздавал ордена, которыми награждал друзей из русской богемы. Эренбург тоже был награждён орденом, я не помню титула, который он при этом получил.

Тайное общество обезьян называлось «Обезвелволпал» (Обезьянья Великая и Вольная Палата). Василий Васильевич Розанов был «обезьяний старейшина» и Великий Phallophor.

На старославянской глаголице Ремизов писал, или скорее рисовал, на грамоте ранг и имя нового кавалера Обезьяньего знака. Я была «рыцарем с лягушачьей лапкой».

В это общество были приняты многие деятели культуры. Михаил Александрович Кузмин был музыкантом Великой и Вольной Палаты. Кто-то был «обезьяньим дедушкой», ранг обезьяньего князя присваивали только во времена голода и войны. Виктор Шкловский получил ранг «маленькой короткохвостой обезьяны». Существовали обезьянье войско и обезьянья азбука, были кавалеры Обезьяньей Палаты, имелись обезьяньи знаки отличия, но их нельзя было открыто носить. Этими обезьяньими почётными знаками можно было, разумеется, похвастаться. Потом была разработана конституция Обезьяньей Палаты, позднее были введены обезьяньи кодификаторы. Если я хорошо помню, в этом его мире не было обезьяньего театра. В квартире Ремизова собирались легендарные шарлоттенбургские обезьяньи конгрессы.

Кто-то был «кавалером с гусиной лапой и с тремя выщипанными хво-

стами». Евгений Павлович Иванов был отмечен «лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша». Некоторые жаловались на случаи коррупции в обезьяньем ордене.

Обезьяньи тайны нельзя было так просто и легкомысленно разбалтывать. Лев Шестов, который считался почитателем алкогольных удовольствий, был назначен виночерпием ордена. Ремизов считал это ведомство самым подходящим для него. Кроме того, имелись обезьяньи реликвии, обезьяньи гимны, а также обезьяний налог. Выдавались обезьяньи медали, созывались обезьяньи совещания. Ремизов создал свой небольшой космос, и все деятели культуры, которые его знали, любили его фантастический мир.

В одной книге я читала письма, которые Томас Манн писал Ремизову. Меня очень радует, что Томас Манн так ценил Ремизова. И я понимаю, почему!

К сожалению, мой собственный орден у меня пропал. Ремизов уехал, как многие другие русские писатели и художники, в Париж, где он, почти полностью ослепший, умер в пятидесятые годы.

Алексей Позняков

В русско-еврейском клубе «Ахдут» в начале 30-х годов я впервые увидела Познякова. К тому времени почти вся русская богема покинула Берлин. По вечерам открывался клуб для состоятельных евреев, в котором была хорошая кухня. В обед готовили дешёвую еду для бедных русских евреев. Некоторые получали обеды бесплатно. В клубе «Ахдут» небольшая группа молодых русских поэтов арендовала зал, чтобы провести там литературный вечер. В тот вечер я тоже читала свои стихи. Я стояла на чём-то наподобие подиума, на мне было чёрное кружевное платье. В первом ряду сидел мужчина лет 50-ти в очках. Во время моего чтения он смотрел на меня неотрывно пронзительным взглядом. После окончания вечера он исчез, и я поначалу забыла о нём.

В некоторых берлинских кафе проходили еженедельные языковые вечера. В одном из помещений кафе стояли длинные столы, за которыми посетители разговаривали на иностранных языках. Некоторые из этих вечеров проходили в кафе «Уландэкк» или «Бристоль». В «Бристоль» был французский стол, которым руководил некий Александр Лещ. Это был русский еврей, говоривший прекрасно по-французски. В один из вечеров Лещ сделал доклад на французском языке на тему «Notre-Dame de Thermidore».

Я сидела за одним из столов и рассматривала публику. Вдруг мои глаза вновь встретились с тем гипнотизирующим взглядом. После доклада этот